# Александр Куприн

# Поединок

## V

Ромашов вышел на крыльцо. Ночь стала точно еще гуще, еще чернее и теплее. Подпоручик ощупью шел вдоль плетня, держась за него руками, и дожидался, пока его глаза привыкнут к мраку. В это время дверь, ведущая в кухню Николаевых, вдруг открылась, выбросив на мгновение в темноту большую полосу туманного желтого света. Кто-то зашлепал по грязи, и Ромашов услышал сердитый голос денщика Николаевых, Степана:

— Ходить, ходить кажын день. И чего ходить, черт его знает!..

А другой солдатский голос, незнакомый подпоручику, ответил равнодушно, вместе с продолжительным, ленивым зевком:

— Дела, братец ты мой… С жиру это все. Ну, прощевай, что ли, Степан.

— Прощай, Баулин. Заходи когда.

Ромашов прилип к забору. От острого стыда он покраснел, несмотря на темноту; все тело его покрылось сразу испариной, и точно тысячи иголок закололи его кожу на ногах и на спине. «Конечно! Даже денщики смеются», — подумал он с отчаянием. Тотчас же ему припомнился весь сегодняшний вечер, и в разных словах, в тоне фраз, во взглядах, которыми обменивались хозяева, он сразу увидел много не замеченных им раньше мелочей, которые, как ему теперь казалось, свидетельствовали о небрежности и о насмешке, о нетерпеливом раздражении против надоедливого гостя.

— Какой позор, какой позор! — шептал подпоручик, не двигаясь с места. — Дойти до того, что тебя едва терпят, когда ты приходишь… Нет, довольно. Теперь я уж твердо знаю, что довольно!

В гостиной у Николаевых потух огонь. «Вот они уже в спальне», — подумал Ромашов и необыкновенно ясно представил себе, как Николаевы, ложась спать, раздеваются друг при друге с привычным равнодушием и бесстыдством давно женатых людей и говорят о нем. Она в одной юбке причесывает перед зеркалом на ночь волосы. Владимир Ефимович сидит в нижнем белье на кровати, снимает сапог и, краснея от усилия, говорит сердито и сонно: «Мне, знаешь, Шурочка, твой Ромашов надоел вот до каких пор. Удивляюсь, чего ты с ним так возишься?» А Шурочка, не выпуская изо рта шпилек и не оборачиваясь, отвечает ему в зеркало недовольным тоном: «Вовсе он не мой, а твой!..»

Прошло еще пять минут, пока Ромашов, терзаемый этими мучительными и горькими мыслями, решился двинуться дальше. Мимо всего длинного плетня, ограждавшего дом Николаевых, он прошел крадучись, осторожно вытаскивая ноги из грязи, как будто его могли услышать и поймать на чем-то нехорошем. Домой идти ему не хотелось: даже было жутко и противно вспоминать о своей узкой и длинной, об одном окне, комнате со всеми надоевшими до отвращения предметами. «Вот, *назло ей* , пойду к Назанскому, — решил он внезапно и сразу почувствовал в этом какое-то мстительное удовлетворение. — Она выговаривала мне за дружбу с Назанским, так вот же назло! И пускай!..»

Подняв глаза к небу и крепко прижав руку к груди, он с жаром сказал про себя: «Клянусь, клянусь, что я в последний раз приходил к ним. Не хочу больше испытывать такого унижения. Клянусь!»

И сейчас же, по своей привычке, прибавил мысленно:

«Его выразительные черные глаза сверкали решимостью и презрением!»

Хотя глаза у него были вовсе не черные, а самые обыкновенные — желтоватые, с зеленым ободком.

Назанский снимал комнату у своего товарища, поручика Зегржта. Этот Зегржт был, вероятно, самым старым поручиком во всей русской армии, несмотря на безукоризненную службу и на участие в турецкой кампании. Каким-то роковым и необъяснимым образом ему не везло в чинопроизводстве. Он был вдов, с четырьмя маленькими детьми, и все-таки кое-как изворачивался на своем сорокавосьмирублевом жалованье. Он снимал большие квартиры и сдавал их по комнатам холостым офицерам, держал столовников, разводил кур и индюшек, умел как-то особенно дешево и заблаговременно покупать дрова. Детей своих он сам купал в корытцах, сам лечил их домашней аптечкой и сам шил им на швейной машине лифчики, панталончики и рубашечки. Еще до женитьбы Зегржт, как и очень многие холостые офицеры, пристрастился к ручным женским работам, теперь же его заставляла заниматься ими крутая нужда. Злые языки говорили про него, что он тайно, под рукой отсылает свои рукоделия куда-то на продажу.

Но все эти мелочные хозяйственные ухищрения плохо помогали Зегржту. Домашняя птица дохла от повальных болезней, комнаты пустовали, нахлебники ругались из-за плохого стола и не платили денег, и периодически, раза четыре в год, можно было видеть, как худой, длинный, бородатый Зегржт с растерянным потным лицом носился по городу в чаянии перехватить где-нибудь денег, причем его блинообразная фуражка сидела козырьком на боку, а древняя николаевская шинель, сшитая еще до войны, трепетала и развевалась у него за плечами наподобие крыльев.

Теперь у него в комнатах светился огонь, и, подойдя к окну, Ромашов увидел самого Зегржта. Он сидел у круглого стола под висячей лампой и, низко наклонив свою плешивую голову с измызганным, морщинистым и кротким лицом, вышивал красной бумагой какую-то полотняную вставку — должно быть, грудь для малороссийской рубашки. Ромашов побарабанил в стекло. Зегржт вздрогнул, отложил работу в сторону и подошел к окну.

— Это я, Адам Иванович. Отворите-ка на секунду, — сказал Ромашов.

Зегржт влез на подоконник и просунул в форточку свой лысый лоб и свалявшуюся на один бок жидкую бороду.

— Это вы, подпоручик Ромашов? А что?

— Назанский дома?

— Дома, дома. Куда же ему идти? Ах, господи, — борода Зегржта затряслась в форточке, — морочит мне голову ваш Назанский. Второй месяц посылаю ему обеды, а он все только обещает заплатить. Когда он переезжал, я его убедительно просил, во избежание недоразумений…

— Да, да, да… это… в самом деле… — перебил рассеянно Ромашов. — А, скажите, каков он? Можно его видеть?

— Думаю, можно… Ходит все по комнате. — Зегржт на секунду прислушался. — Вот и теперь ходит. Вы понимаете, я ему ясно говорил: во избежание недоразумений условимся, чтобы плата…

— Извините, Адам Иванович, я сейчас, — прервал его Ромашов. — Если позволите, я зайду в другой раз. Очень спешное дело…

Он прошел дальше и завернул за угол. В глубине палисадника, у Назанского горел огонь. Одно из окон было раскрыто настежь. Сам Назанский, без сюртука, в нижней рубашке, расстегнутой у ворота, ходи-л взад и вперед быстрыми шагами по комнате; его белая фигура и золотоволосая голова то мелькали в просветах окон, то скрывались за простенками. Ромашов перелез через забор палисадника и окликнул его.

— Кто это? — спокойно, точно он ожидал оклика, спросил Назанский, высунувшись наружу через подоконник. — А, это вы, Георгий Алексеич? Подождите: через двери вам будет далеко и темно. Лезьте в окно. Давайте вашу руку.

Комната у Назанского была еще беднее, чем у Ромашова. Вдоль стены у окна стояла узенькая, низкая, вся вогнувшаяся дугой кровать, такая тощая, точно на ее железках лежало всего одно только розовое пикейное одеяло; у другой стены — простой некрашеный стол и две грубых табуретки. В одном из углов комнаты был плотно пригнан, на манер кивота, узенький деревянный поставец. В ногах кровати помещался кожаный рыжий чемодан, весь облепленный железнодорожными бумажками. Кроме этих предметов, не считая лампы на столе, в комнате не было больше ни одной вещи.

— Здравствуйте, мой дорогой, — сказал Назанский, крепко пожимая и встряхивая руку Ромашова и глядя ему прямо в глаза задумчивыми, прекрасными голубыми глазами. — Садитесь-ка вот здесь, на кровать. Вы слышали, что я подал рапорт о болезни?

— Да. Мне сейчас об этом говорил Николаев.

Опять Ромашову вспомнились ужасные слова денщика Степана, и лицо его страдальчески сморщилось.

— А! Вы были у Николаевых? — вдруг с живостью и с видимым интересом спросил Назанский. — Вы часто бываете у них?

Какой-то смутный инстинкт осторожности, вызванный необычным тоном этого вопроса, заставил Ромашова солгать, и он ответил небрежно:

— Нет, совсем не часто. Так, случайно зашел.

Назанский, ходивший взад и вперед по комнате, остановился около поставца и отворил его. Там на полке стоял графин с водкой и лежало яблоко, разрезанное аккуратными, тонкими ломтями. Стоя спиной к гостю, он торопливо налил себе рюмку и выпил. Ромашов видел, как конвульсивно содрогнулась его спина под тонкой полотняной рубашкой.

— Не хотите ли? — предложил Назанский, указывая на поставец. — Закуска небогатая, но, если голодны, можно соорудить яичницу. Можно воздействовать на Адама, ветхого человека.

— Спасибо. Я потом.

Назанский прошелся по комнате, засунув руки в карманы. Сделав два конца, он заговорил, точно продолжая только что прерванную беседу:

— Да. Так вот я все хожу и все думаю. И, знаете, Ромашов, я счастлив. В полку завтра все скажут, что у меня запой. А что ж, это, пожалуй, и верно, только это не совсем так. Я теперь счастлив, а вовсе не болен и не страдаю. В обыкновенное время мой ум и моя воля подавлены. Я сливаюсь тогда с голодной, трусливой серединой и бываю пошл, скучен самому себе, благоразумен и рассудителен. Я ненавижу, например, военную службу, но служу. Почему я служу? Да черт его знает почему! Потому что мне с детства твердили и теперь все кругом говорят, что самое главное в жизни — это служить и быть сытым и хорошо одетым. А философия, говорят они, это чепуха, это хорошо тому, кому нечего делать, кому маменька оставила наследство. И вот я делаю вещи, к которым у меня совершенно не лежит душа, исполняю ради животного страха жизни приказания, которые мне кажутся порой жестокими, а порой бессмысленными. Мое существование однообразно, как забор, и серо, как солдатское сукно. Я не смею задуматься, — не говорю о том, чтобы рассуждать вслух, — о любви, о красоте, о моих отношениях к человечеству, о природе, о равенстве и счастии людей, о поэзии, о боге. Они смеются: ха-ха-ха, это все философия!.. Смешно, и дико, и непозволительно думать офицеру армейской пехоты о возвышенных материях. Это философия, черт возьми, следовательно — чепуха, праздная и нелепая болтовня.

— Но это — главное в жизни, — задумчиво произнес Ромашов.

— И вот наступает для меня это время, которое они зовут таким жестоким именем, — продолжал, не слушая его, Назанский. Он все ходил взад и вперед и по временам делал убедительные жесты, обращаясь, впрочем, не к Ромашову, а к двум противоположным углам, до которых по очереди доходил. — Это время моей свободы, Ромашов, свободы духа, воли и ума! Я живу тогда, может быть, странной, но глубокой, чудесной внутренней жизнью. Такой полной жизнью! Все, что я видел, о чем читал или слышал, — все оживляется во мне, все приобретает необычайно яркий свет и глубокий, бездонный смысл. Тогда память моя — точно музей редких откровений. Понимаете — я Ротшильд! Беру первое, что мне попадается, и размышляю о нем, долго, проникновенно, с наслаждением. О лицах, о встречах, о характерах, о книгах, о женщинах — ах, особенно о женщинах и о женской любви!.. Иногда я думаю об ушедших великих людях, о мучениках науки, о мудрецах и героях и об их удивительных словах. Я не верю в бога, Ромашов, но иногда я думаю о святых угодниках, подвижниках и страстотерпцах и возобновляю в памяти каноны и умилительные акафисты. Я ведь, дорогой мой, в бурсе учился, и память у меня чудовищная. Думаю я обо всем об этом, и случается, так вдруг иногда горячо прочувствую чужую радость, или чужую скорбь, или бессмертную красоту какого-нибудь поступка, что хожу вот так, один… и плачу, — страстно, жарко плачу…

Ромашов потихоньку встал с кровати и сел с ногами на открытое окно, так что его спина и его подошвы упирались в противоположные косяки рамы. Отсюда, из освещенной комнаты, ночь казалась еще темнее, еще глубже, еще таинственнее. Теплый, порывистый, но беззвучный ветер шевелил внизу, под окном черные листья каких-то низеньких кустов. И в этом мягком воздухе, полном странных весенних ароматов, в этой тишине, темноте, в этих преувеличенно ярких и точно теплых звездах — чувствовалось тайное и страстное брожение, угадывалась жажда материнства и расточительное сладострастие земли, растений, деревьев — целого мира.

А Назанский все ходил по комнате и говорил, не глядя на Ромашова, точно обращаясь к стенам и к углам комнаты:

— Мысль в эти часы бежит так прихотливо, так пестро и так неожиданно. Ум становится острым и ярким, воображение — точно поток! Все вещи и лица, которые я вызываю, стоят передо мною так рельефно и так восхитительно ясно, точно я вижу их в камер-обскуре. Я знаю, я знаю, мой милый, что это обострение чувств, все это духовное озарение — увы! — не что иное, как физиологическое действие алкоголя на нервную систему. Сначала, когда я впервые испытал этот чудный подъем внутренней жизни, я думал, что это — само вдохновение. Но нет: в нем нет ничего творческого, нет даже ничего прочного. Это просто болезненный процесс. Это просто внезапные приливы, которые с каждым разом все больше и больше разъедают дно. Да. Но все-таки это безумие сладко мне, и… к черту спасительная бережливость и вместе с ней к черту дурацкая надежда прожить до ста десяти лет и попасть в газетную смесь, как редкий пример долговечия… Я счастлив — и все тут!

Назанский опять подошел к поставцу и, выпив, аккуратно притворил дверцы. Ромашов лениво, почти бессознательно, встал и сделал то же самое.

— О чем же вы думали перед моим приходом, Василий Нилыч? — спросил он, садясь по-прежнему на подоконник.

Но Назанский почти не слыхал его вопроса.

— Какое, например, наслаждение мечтать о женщинах! — воскликнул он, дойдя до дальнего угла и обращаясь к этому углу с широким, убедительным жестом. — Нет, не грязно думать. Зачем? Никогда не надо делать человека, даже в мыслях, участником зла, а тем более грязи. Я думаю часто о нежных, чистых, изящных женщинах, об их светлых и прелестных улыбках, думаю о молодых, целомудренных матерях, о любовницах, идущих ради любви на смерть, о прекрасных, невинных и гордых девушках с белоснежной душой, знающих все и ничего не боящихся. Таких женщин нет. Впрочем, я не прав. Наверно, Ромашов, такие женщины есть, но мы с вами их никогда не увидим. Вы еще, может быть, увидите, но я — нет.

Он стоял теперь перед Ромашовым и глядел ему прямо в лицо, но по мечтательному выражению его глаз и по неопределенной улыбке, блуждавшей вокруг его губ, было заметно, что он не видит своего собеседника. Никогда еще лицо Назанского, даже в его Лучшие, трезвые минуты, не казалось Ромашову таким красивым Си интересным. Золотые волосы падали крупными цельными локонами вокруг его высокого, чистого лба, густая, четырехугольной формы, рыжая, небольшая борода лежала правильными волнами, точно нагофрированная, и вся его массивная и изящная голова, с обнаженной шеей благородного рисунка, была похожа на голову одного из тех греческих героев или мудрецов, великолепные бюсты которых Ромашов видел где-то на гравюрах. Ясные, чуть-чуть влажные голубые глаза смотрели оживленно, умно и кротко. Даже цвет этого красивого, правильного лица поражал своим ровным, нежным, розовым тоном, и только очень опытный взгляд различил бы в этой кажущейся свежести, вместе с некоторой опухлостью черт, результат алкогольного воспаления крови.

— Любовь! К женщине! Какая бездна тайны! Какое наслаждение и какое острое, сладкое страдание! — вдруг воскликнул восторженно Назанский.

Он в волнении схватил себя руками за волосы и опять метнулся в угол, но, дойдя до него, остановился, повернулся лицом к Ромашову и весело захохотал. Подпоручик с тревогой следил за ним.

— Вспомнилась мне одна смешная история, — добродушно и просто заговорил Назанский. — Эх, мысли-то у меня как прыгают!.. Сидел я однажды в Рязани на станции «Ока» и ждал парохода. Ждать приходилось, пожалуй, около суток, — это было во время весеннего разлива, — и я — вы, конечно, понимаете — свил себе гнездо в буфете. А за буфетом стояла девушка, так лет восемнадцати, — такая, знаете ли, некрасивая, в оспинках, по бойкая такая, черноглазая, с чудесной улыбкой и в конце концов премилая. И было нас только трое на станции: она, я и маленький белобрысый телеграфист. Впрочем, был и ее отец, знаете — такая красная, толстая, сивая подрядческая морда, вроде старого и свирепого меделянского пса. Но отец был как бы за кулисами. Выйдет на две минуты за прилавок и все зевает, и все чешет под жилетом брюхо, не может никак глаз разлепить. Потом уйдет опять спать. Но телеграфистик приходил постоянно. Помню, облокотился он на стойку локтями и молчит. И она молчит, смотрит в окно, на разлив. А там вдруг юноша запоет говорком:

Лю-юбовь — что такое?

Что тако-ое любовь?

Это чувство неземное,

Что волнует нашу кровь.

И опять замолчит. А через пять минут она замурлычет: «Любовь — что такое? Что такое любовь?..» Знаете, такой пошленький-пошленький мотивчик. Должно быть, оба слышали его где-нибудь в оперетке или с эстрады… небось нарочно в город пешком ходили. Да. Попоют и опять помолчат. А потом она, как будто незаметно, все поглядывая в окошечко, глядь — и забудет руку на стойке, а он возьмет ее в свои руки и перебирает палец за пальцем. И опять: «Лю-юбовь — что такое?..» На дворе — весна, разлив, томность. И так они круглые сутки. Тогда эта «любовь» мне порядком надоела, а теперь, знаете, трогательно вспомнить. Ведь таким манером они, должно быть, любезничали до меня недели две, а может быть, и после меня с месяц. И я только потом почувствовал, какое это счастие, какой луч света в их бедной, узенькой-узенькой жизни, ограниченной еще больше, чем наша нелепая жизнь — о, куда! — в сто раз больше!.. Впрочем… Постойте-ка, Ромашов. Мысли у меня путаются. К чему это я о телеграфисте?

Назанский опять подошел к поставцу. Но он не вил, а, повернувшись спиной к Ромашову, мучительно тер лоб и крепко сжимал виски пальцами правой руки. И в этом нервном движении было что-то жалкое, бессильное, приниженное.

— Вы говорили о женской любви — о бездне, о тайне, о радости, — напомнил Ромашов.

— Да, любовь! — воскликнул Назанский ликующим голосом. Он быстро выпил рюмку, отвернулся с загоревшимися глазами от поставца и торопливо утер губы рукавом рубашки. — Любовь! Кто понимает ее? Из нее сделали тему для грязных, помойных опереток, для похабных карточек, для мерзких анекдотов, для мерзких-мерзких стишков. Это мы, офицеры, сделали. Вчера у меня был Диц. Он сидел на том же самом месте, где теперь сидите вы. Он играл своим золотым пенсне и говорил о женщинах. Ромашов, дорогой мой, если бы животные, например собаки, обладали даром понимания человеческой речи и если бы одна из них услышала вчера Дица, ей-богу, она ушла бы из комнаты от стыда. Вы знаете — Диц хороший человек, да и все хорошие, Ромашов: дурных людей нет. Но он стыдится иначе говорить о женщинах, стыдится из боязни потерять свое реноме циника, развратника и победителя. Тут какой-то общий обман, какое-то напускное мужское молодечество, какое-то хвастливое презрение к женщине. И все это оттого, что для большинства в любви, в обладании женщиной, понимаете, в окончательном обладании, — таится что-то грубо-животное, что-то эгоистичное, только для себя, что-то сокровенно-низменное, блудливое и постыдное — черт! — я не умею этого выразить. И оттого-то у большинства вслед за обладанием идет холодность, отвращение, вражда. Оттого-то люди и отвели для любви ночь, так же как для воровства и для убийства… Тут, дорогой мой, природа устроила для людей какую-то засаду с приманкой и с петлей.

— Это правда, — тихо и печально согласился Ромашов.

— Нет, неправда! — громко крикнул Назанский. — А я вам говорю — неправда. Природа, как и во всем, распорядилась гениально. То-то и дело, что для поручика Дица вслед за любовью идет брезгливость и пресыщение, а для Данте вся любовь — прелесть, очарование, весна! Нет, нет, не думайте: я говорю о любви в самом прямом, телесном смысле. Но она — удел избранников. Вот вам пример: все люди обладают музыкальным слухом, но у миллионов он, как у рыбы трески или как у штабс-капитана Васильченки, а один из этого миллиона — Бетховен. Так во всем: в поэзии, в художестве, в мудрости… И любовь, говорю я вам, имеет свои вершины, доступные лишь единицам из миллионов.

Он подошел к окну, прислонился лбом к углу стены рядом с Ромашовым и, задумчиво глядя в теплый мрак весенней ночи, заговорил вздрагивающим, глубоким, проникновенным голосом:

— О, как мы не умеем ценить ее тонких, неуловимых прелестей, мы — грубые, ленивые, недальновидные. Понимаете ли вы, сколько разнообразного счастия и очаровательных мучений заключается в нераздельной, безнадежной любви? Когда я был помоложе, во мне жила одна греза: влюбиться в недосягаемую, необыкновенную женщину, такую, знаете ли, с которой у меня никогда и ничего не может быть общего. Влюбиться и всю жизнь, все мысли посвятить ей. Все равно: наняться поденщиком, поступить в лакеи, в кучера — переодеваться, хитрить, чтобы только хоть раз в год случайно увидеть ее, поцеловать следы ее ног на лестнице, чтобы — о, какое безумное блаженство! — раз в жизни прикоснуться к ее платью.

— И кончить сумасшествием, — мрачно сказал Ромашов.

— Ах, милый мой, не все ли равно! — возразил с пылкостью Назанский и опять нервно забегал по комнате. — Может быть, — почем знать? — вы тогда-то и вступите в блаженную сказочную жизнь. Ну, хорошо: вы сойдете с ума от этой удивительной, невероятной любви, а поручик Диц сойдет с ума от прогрессивного паралича и от гадких болезней. Что же лучше? Но подумайте только, какое счастье — стоять целую ночь на другой стороне улицы, в тени, и глядеть в окно обожаемой женщины. Вот осветилось оно изнутри, на занавеске движется тень. Не она ли это? Что она делает? Что думает? Погас свет. Спи мирно, моя радость, спи, возлюбленная моя!.. И день уже полон — это победа! Дни, месяцы, годы употреблять все силы изобретательности и настойчивости, и вот — великий, умопомрачительный восторг: у тебя в руках ее платок, бумажка от конфеты, оброненная афиша. Она ничего не знает о тебе, никогда не услышит о тебе, глаза ее скользят по тебе, не видя, но ты тут, подле, всегда обожающий, всегда готовый отдать за нее — нет, зачем за нее — за ее каприз, за ее мужа, за любовника, за ее любимую собачонку — отдать и жизнь, и честь, и все, что только возможно отдать! Ромашов, таких радостей не знают красавцы и победители.

— О, как это верно! Как хорошо все, что вы говорите! — воскликнул взволнованный Ромашов. Он уже давно встал с подоконника и так же, как и Назанский, ходил по узкой, длинной комнате, ежеминутно сталкиваясь с ним и останавливаясь. — Какие мысли приходят вам в голову! Я вам расскажу про себя. Я был влюблен в одну… женщину. Это было не здесь, не здесь… еще в Москве… я был… юнкером. Но она не знала об этом. И мне доставляло чудесное удовольствие сидеть около нее и, когда она что-нибудь работала, взять нитку и тихонько тянуть к себе. Только и всего. Она не замечала этого, совсем не замечала, а у меня от счастья дружилась голова.

— Да, да, я понимаю, — кивал головой Назанский, весело и ласково улыбаясь. — Я понимаю вас. Это — точно проволока, точно электрический ток? Да? Какое-то тонкое, нежное общение? Ах, милый мой, жизнь так прекрасна!..

Назанский замолчал, растроганный своими мыслями, и его голубые глаза, наполнившись слезами, заблестели. Ромашова также охватила какая-то неопределенная, мягкая жалость и немного истеричное умиление. Эти чувства относились одинаково и к Назанскому и к нему самому.

— Василий Нилыч, я удивляюсь вам, — сказал он, взяв Назанского за обе руки и крепко сжимая их. — Вы — такой талантливый, чуткий, широкий человек, и вот… точно нарочно губите себя. О нет, нет, я не смею читать вам пошлой морали… Я сам… Но что, если бы вы встретили в своей жизни женщину, которая сумела бы вас оценить и была бы вас достойна. Я часто об этом думаю…

Назанский остановился и долго смотрел в раскрытое окно.

— Женщина… — протянул он задумчиво. — Да! Я вам расскажу! — воскликнул он вдруг решительно. — Я встретился один-единственный раз в жизни с чудной, необыкновенной женщиной. С девушкой… Но знаете, как это у Гейне: «Она была достойна любви, и он любил ее, но он был недостоин любви, и она не любила его». Она разлюбила меня за то, что я пью… впрочем, я не знаю, может быть, я пью оттого, что она меня разлюбила. Она… ее здесь тоже нет… это было давно. Ведь вы знаете, я прослужил сначала три года, потом был четыре года в запасе, а потом три года тому назад опять поступил в полк. Между нами не было романа. Всего десять — пятнадцать встреч, пять-шесть интимных разговоров. Но — думали ли вы когда-нибудь о неотразимой, обаятельной власти прошедшего? Так вот, в этих невинных мелочах — все мое богатство. Я люблю ее до сих пор. Подождите, Ромашов… Вы стоите этого. Я вам прочту ее единственное письмо — первое и последнее, которое она мне написала.

Он сел на корточки перед чемоданом и стал неторопливо переворачивать в нем какие-то бумаги. В то же время он продолжал говорить:

— Пожалуй, она никогда и никого не любила, кроме себя. В ней пропасть властолюбия, какая-то злая и гордая сила. И в то же время она — такая добрая, женственная, бесконечно милая. Точно в ней два человека: один — с сухим, эгоистичным умом, другой — с нежным и страстным сердцем. Вот оно, читайте, Ромашов. Что сверху — это лишнее. — Назанский отогнул несколько строк сверху. — Вот отсюда. Читайте.

Что-то, казалось, постороннее ударило Ромашову в голову, и вся комната пошатнулась перед его глазами. Письмо было написано крупным, нервным, тонким почерком, который мог принадлежать только одной Александре Петровне — так он был своеобразен, неправилен и изящен. Ромашов, часто получавший от нее записки с приглашениями на обед и на партию винта, мог бы узнать этот почерк из тысячи различных писем.

«…и горько и тяжело произнести его, — читал он из-под руки Назанского. — Но вы сами сделали все, чтобы привести наше знакомство к такому печальному концу. Больше всего в жизни я стыжусь лжи, всегда идущей от трусости и от слабости, и потому не стану вам лгать. Я любила вас и до сих пор еще люблю, и знаю, что мне не скоро и нелегко будет уйти от этого чувства. Но в конце концов я все-таки одержу над ним победу. Что было бы, если бы я поступила иначе? Во мне, правда, хватило бы сил и самоотверженности быть вожатым, нянькой, сестрой милосердия при безвольном, опустившемся, нравственно разлагающемся человеке, но я ненавижу чувства жалости и постоянного унизительного всепрощения и не хочу, чтобы *вы* их во мне возбуждали. Я не хочу, чтобы *вы* питались милостыней сострадания и собачьей преданности. А другим вы быть не можете, несмотря на ваш ум и прекрасную душу. Скажите честно, искренно, ведь не можете? Ах, дорогой Василий Нилыч, если бы вы могли! Если бы! К вам стремится все мое сердце, все мои желания, я люблю вас. Но вы сами не захотели меня. Ведь для любимого человека можно перевернуть весь мир, а я вас просила так о немногом. Вы не можете?

Прощайте. Мысленно целую вас в лоб… как покойника, потому что вы умерли для меня. Советую это письмо уничтожить. Не потому, чтобы я чего-нибудь боялась, но потому, что со временем оно будет для вас источником тоски и мучительных воспоминаний. Еще раз повторяю…»

— Дальше вам не интересно, — сказал Назанский, вынимая из рук Ромашова письмо. — Это было ее единственное письмо ко мне.

— Что же было потом? — с трудом спросил Ромашов.

— Потом? Потом мы не видались больше. Она… она уехала куда-то и, кажется, вышла замуж за… одного инженера. Это второстепенное.

— И вы никогда не бываете у Александры Петровны?

Эти слова Ромашов сказал совсем шепотом, но оба офицера вздрогнули от них и долго не могли отвести глаз друг от друга. В эти несколько секунд между ними точно раздвинулись все преграды человеческой хитрости, притворства и непроницаемости, и они свободно читали в душах друг у друга. Они сразу поняли сотню вещей, которые до сих пор таили про себя, и весь их сегодняшний разговор принял вдруг какой-то особый, глубокий, точно трагический смысл.

— Как? И вы — тоже? — тихо, с выражением безумного страха в глазах, произнес наконец Назанский.

Но он тотчас же опомнился и с натянутым смехом воскликнул:

— Фу, какое недоразумение! Мы с вами совсем удалились от темы. Письмо, которое я вам показал, писано сто лет тому назад, и эта женщина живет теперь где-то далеко, кажется, в Закавказье… Итак, на чем же мы остановились?

— Мне пора домой, Василий Нилыч. Поздно, — сказал Ромашов, вставая.

Назанский не стал его удерживать. Простились они не холодно и не сухо, но точно стыдясь друг друга. Ромашов теперь еще более был уверен, что письмо писано Шурочкой. Идя домой, он все время думал об этом письме и сам не мог понять, какие чувства оно в нем возбуждало. Тут была и ревнивая зависть к Назанскому — ревность к прошлому, и какое-то торжествующее злое сожаление к Николаеву, но в то же время была и какая-то новая надежда — неопределенная, туманная, но сладкая и манящая. Точно это письмо и ему давало в руки какую-то таинственную, незримую нить, идущую в будущее.

Ветер утих.

Ночь была полна глубокой тишиной, и темнота ее казалась бархатной и теплой. Но тайная творческая жизнь чуялась в бессонном воздухе, в спокойствии невидимых деревьев, в запахе земли. Ромашов шел, не видя дороги, и ему все представлялось, что вот-вот кто-то могучий, властный и ласковый дохнет ему в лицо жарким дыханием. И была у него в душе ревнивая грусть по его прежним, детским, таким ярким и невозвратимым веснам, была тихая, беззлобная зависть к своему чистому, нежному прошлому…

Придя к себе, он застал вторую записку от Раисы Александровны Петерсон. Она нелепым и выспренним слогом писала о коварном-обмане, о том, что она все понимает, и о всех ужасах мести, на которые способно разбитое женское сердце.

«Я знаю, что мне теперь делать! — говорилось в письме. — Если только я не умру на чахотку от вашего подлого поведения, то, поверьте, я жестоко отплачу вам. Может быть, вы думаете, что никто не знает, где вы бываете каждый вечер? Слепец! И у стен есть уши. Мне известен каждый ваш шаг. Но, все равно, с вашей наружностью и красноречием вы *там* ничего не добьетесь, кроме того, что N вас вышвырнет за дверь, как щенка. А со мною советую вам быть осторожнее. Я не из тех женщин, которые прощают нанесенные обиды.

Владеть кинжалом я умею,

Я близ Кавказа рождена!!!

Прежде ваша, теперь ничья *Раиса* .

P.S. Непременно будьте в ту субботу в собрании. Нам надо объясниться. Я для вас оставлю 3-ю кадриль, но уж теперь *не по значению* .

Р.П. »

Глупостью, пошлостью, провинциальным болотом и злой сплетней повеяло на Ромашова от этого безграмотного и бестолкового письма. И сам себе он показался с ног до головы запачканным тяжелой, несмываемой грязью, которую на него наложила эта связь с нелюбимой женщиной — связь, тянувшаяся почти полгода. Он лег в постель, удрученный, точно раздавленный всем нынешним днем, и, уже засыпая, подумал про себя словами, которые он слышал вечером от Назанского:

«Его мысли были серы, как солдатское сукно».

Он заснул скоро, тяжелым сном. И, как это всегда с ним бывало в последнее время после крупных огорчений, он увидел себя во сне мальчиком. Не было грязи, тоски, однообразия жизни, в теле чувствовалась бодрость, душа была светла и чиста и играла бессознательной радостью. И весь мир был светел и чист, а посреди его — милые, знакомые улицы Москвы блистали тем прекрасным сиянием, какое можно видеть только во сне. Но где-то на краю этого ликующего мира, далеко на горизонте, оставалось темное, зловещее пятно: там притаился серенький, унылый городишко с тяжелой и скучной службой, с ротными школами, с пьянством в собрании, с тяжестью и противной любовной связью, с тоской и одиночеством. Вся жизнь звенела и сияла радостью, но темное враждебное пятно тайно, как черный призрак, подстерегало Ромашова и ждало своей очереди. И один маленький Ромашов — чистый, беззаботный, невинный — страстно плакал о своем старшем двойнике, уходящем, точно расплывающемся в этой злобной тьме.

Среди ночи он проснулся и заметил, что его подушка влажна от слез. Он не мог сразу удержать их, и они еще долго сбегали по его щекам теплыми, мокрыми, быстрыми струйками.

## VI

За исключением немногих честолюбцев и карьеристов, все офицеры несли службу как принудительную, неприятную, опротивевшую барщину, томясь ею и не любя ее. Младшие офицеры, совсем по-школьнически, опаздывали на занятия и потихоньку убегали с них, если знали, что им за это не достанется. Ротные командиры, большею частью люди многосемейные, погруженные в домашние дрязги и в романы своих жен, придавленные жестокой бедностью и жизнью сверх средств, кряхтели под бременем непомерных расходов и векселей. Они строили заплату на заплате, хватая деньги в одном месте, чтобы заткнуть долг в другом; многие из них решались — и чаще всего по настоянию своих жен — заимствовать деньги из ротных сумм или из платы, приходившейся солдатам за вольные работы; иные по месяцам и даже годам задерживали денежные солдатские письма, которые они, по правилам, должны были распечатывать. Некоторые только и жили, что винтом, штосом и ландскнехтом: кое-кто играл нечисто, — об этом знали, но смотрели сквозь пальцы. При этом все сильно пьянствовали как в собрании, так и в гостях друг у друга, иные же, вроде Сливы, — в одиночку.

Таким образом, офицерам даже некогда было серьезно относиться к своим обязанностям. Обыкновенно весь внутренний механизм роты приводил в движение и регулировал фельдфебель; он же вел всю канцелярскую отчетность и держал ротного командира незаметно, но крепко, в своих жилистых, многоопытных руках. На службу ротные ходили с таким же отвращением, как и субалтерн-офицеры, и «подтягивали фендриков» только для соблюдения престижа, а еще реже из властолюбивого самодурства.

Батальонные командиры ровно ничего не делали, особенно зимой. Есть в армии два таких промежуточных звания — батальонного и бригадного командиров: начальники эти всегда находятся в самом неопределенном и бездеятельном положении. Летом им все-таки приходилось делать батальонные учения, участвовать в полковых и дивизионных занятиях и нести трудности маневров. В свободное же время они сидели в собрании, с усердием читали «Инвалид» и спорили о чинопроизводстве, играли в карты, позволяли охотно младшим офицерам угощать себя, устраивали у себя на домах вечеринки и старались выдавать своих многочисленных дочерей замуж.

Однако перед большими смотрами все, от мала до велика, подтягивались и тянули друг друга. Тогда уже не знали отдыха, наверстывая лишними часами занятий и напряженной, хотя и бестолковой энергией то, что было пропущено. С силами солдат не считались, доводя людей до изнурения. Ротные жестоко резали и осаживали младших офицеров, младшие офицеры сквернословили неестественно, неумело и безобразно, унтер-офицеры, охрипшие от ругани, жестоко дрались. Впрочем, дрались и не одни только унтер-офицеры.

Такие дни бывали настоящей страдой, и о воскресном отдыхе с лишними часами сна мечтал, как о райском блаженстве, весь полк, начиная с командира до последнего затрепанного и замурзанного денщика.

Этой весной в полку усиленно готовились к майскому параду. Стало наверно известным, что смотр будет производить командир корпуса, взыскательный боевой генерал, известный в мировой военной литературе своими записками о войне карлистов и о франко-прусской кампании 1870 года, в которых он участвовал в качестве волонтера. Еще более широкою известностью пользовались его приказы, написанные в лапидарном суворовском духе. Провинившихся подчиненных он разделывал в этих приказах со свойственным ему хлестким и грубым сарказмом, которого офицеры боялись больше всяких дисциплинарных наказаний. Поэтому в ротах шла, вот уже две недели, поспешная, лихорадочная работа, и воскресный день с одинаковым нетерпением ожидался как усталыми офицерами, так и задерганными, ошалевшими солдатами.

Но для Ромашова благодаря аресту пропала вся прелесть этого сладкого отдыха. Встал он очень рано и, как ни старался, не мог потом заснуть. Он вяло одевался, с отвращением пил чай и даже раз за что-то грубо прикрикнул на Гайнана, который, как и всегда, был весел, подвижен и неуклюж, как молодой щенок.

В серой расстегнутой тужурке кружился Ромашов по своей крошечной комнате, задевая ногами за ножки кровати, а локтями за шаткую пыльную этажерку. В первый раз за полтора года — и то благодаря несчастному и случайному обстоятельству — он остался наедине сам с собою. Прежде этому мешала служба, дежурства, вечера в собрании, карточная игра, ухаживание за Петерсон, вечера у Николаевых. Иногда, если и случался свободный, ничем не заполненный час, то Ромашов, томимый скукой и бездельем, точно боясь самого себя, торопливо бежал в клуб, или к знакомым, или просто на улицу, до встречи с кем-нибудь из холостых товарищей, что всегда кончалось выпивкой. Теперь же он с тоской думал, что впереди — целый день одиночества, и в голову ему лезли все такие странные, неудобные и ненужные мысли.

В городе зазвонили к поздней обедне. Сквозь вторую, еще не выставленную раму до Ромашова доносились дрожащие, точно рождающиеся один из другого звуки благовеста, по-весеннему очаровательно грустные. Сейчас же за окном начинался сад, где во множестве росли черешни, все белые от цветов, круглые и кудрявые, точно стадо белоснежных овец, точно толпа девочек в белых платьях. Между ними там и сям возвышались стройные, прямые тополи с ветками, молитвенно устремленными вверх, в небо, и широко раскидывали свои мощные купообразные вершины старые каштаны; деревья были еще пусты и чернели голыми сучьями, но уже начинали, едва заметно для глаза, желтеть первой, пушистой, радостной зеленью. Утро выдалось ясное, яркое, влажное. Деревья тихо вздрагивали и медленно качались. Чувствовалось, что между ними бродит ласковый прохладный ветерок и заигрывает, и шалит, и, наклоняя цветы книзу, целует их.

Из окна направо была видна через ворота часть грязной, черной улицы, с чьим-то забором по ту сторону. Вдоль этого забора, бережно ступая ногами в сухие места, медленно проходили люди. «У них целый день еще впереди, — думал Ромашов, завистливо следя за ними глазами, — оттого они не торопятся. Целый свободный день!»

И ему вдруг нетерпеливо, страстно, до слез захотелось сейчас же одеться и уйти из комнаты. Его потянуло не в собрание, как всегда, а просто на улицу, на воздух. Он как будто не знал раньше цены свободе и теперь сам удивлялся тому, как много счастья может заключаться в простой возможности идти, куда хочешь, повернуть в любой переулок, выйти на площадь, зайти в церковь и делать это не боясь, не думая о последствиях. Эта возможность вдруг представилась ему каким-то огромным праздником души.

И вместе с тем вспомнилось ему, как в раннем детстве, еще до корпуса, мать наказывала его тем, что привязывала его тоненькой ниткой за ногу к кровати, а сама уходила. И маленький Ромашов сидел покорно целыми часами. В другое время он ни на секунду не задумался бы над тем, чтобы убежать из дому на весь день, хотя бы для этого пришлось спускаться по водосточному желобу из окна второго этажа. Он часто, ускользнув таким образом, увязывался на другой конец Москвы за военной музыкой или за похоронами, он отважно воровал у матери сахар, варенье и папиросы для старших товарищей, но нитка! — нитка оказывала на него странное, гипнотизирующее действие. Он даже боялся натягивать ее немного посильнее, чтобы она как-нибудь не лопнула. Здесь был не страх наказания, и, конечно, не добросовестность и не раскаяние, а именно гипноз, нечто вроде суеверного страха перед могущественными и непостижимыми действиями взрослых, нечто вроде почтительного ужаса дикаря перед магическим кругом шамана.

«И вот я теперь сижу, как школьник, как мальчик, привязанный за ногу, — думал Ромашов, слоняясь по комнате. — Дверь открыта, мне хочется идти, куда хочу, делать, что хочу, говорить, смеяться, — а я сижу на нитке. Это *я* сижу. Я. Ведь это — Я! Но ведь это только он решил, что я должен сидеть. Я не давал своего согласия».

— Я! — Ромашов остановился среди комнаты и с расставленными врозь ногами, опустив голову вниз, крепко задумался. — Я! Я! Я! — вдруг воскликнул он громко, с удивлением, точно в первый раз поняв это короткое слово. — Кто же это стоит здесь и смотрит вниз, на черную щель в полу? Это.

— Я. О, как странно!.. Я-а, — протянул он медленно, вникая всем сознанием в этот звук.

Он рассеянно и неловко улыбнулся, но тотчас же нахмурился и побледнел от напряжения мысли. Подобное с ним случалось нередко за последние пять-шесть лет, как оно бывает почти со всеми молодыми людьми в период созревания души. Простая истина, поговорка, общеизвестное изречение, смысл которого он давно уже механически знал, вдруг благодаря какому-то внезапному внутреннему освещению приобретали глубокое философское значение, и тогда ему казалось, что он впервые их слышит, почти сам открыл их. Он даже помнил, как *это* было с ним в первый раз. В корпусе, на уроке закона божия, священник толковал притчу о работниках, переносивших камни. Один носил сначала мелкие, а потом приступил к тяжелым и последних камней уже не мог дотащить; другой же поступил наоборот и кончил свою работу благополучно. Для Ромашова вдруг сразу отверзлась целая бездна практической мудрости, скрытой в этой бесхитростной притче, которую он знал и понимал с тех пор, как выучился читать. То же самое случилось вскоре с знакомой поговоркой «Семь раз отмерь — один раз отрежь». В один какой-то счастливый, проникновенный миг он понял в ней все: благоразумие, дальновидность, осторожную бережливость, расчет. Огромный житейский опыт уложился в этих пяти-шести словах. Так и теперь его вдруг ошеломило и потрясло неожиданное яркое сознание своей индивидуальности…

«Я — это внутри, — думал Ромашов, — а все остальное — это постороннее, это — не Я. Вот эта комната, улица, деревья, небо, полковой командир, поручик Андрусевич, служба, знамя, солдаты — все это не Я. Нет, нет, это не Я. Вот мои руки и ноги, — Ромашов с удивлением посмотрел на свои руки, поднеся их близко к лицу и точно впервые разглядывая их, — нет, это все — не Я. А вот я ущипну себя за руку… да, вот так… это Я. Я вижу руку, подымаю ее кверху — это Я. То, что я теперь думаю, это тоже Я. И если я захочу пойти, это Я. И вот я остановился — это Я.

О, как это странно, как просто и как изумительно. Может быть, у всех есть это Я? А может быть, не у всех? Может быть, ни у кого, кроме меня? А что — если есть? Вот — стоят передо мной сто солдат, я кричу им: „Глаза направо!“ — и сто человек, из которых у каждого есть свое Я и которые во мне видят что-то чужое, постороннее, не Я, — они все сразу поворачивают головы направо. Но я не различаю их друг от друга, они — масса. А для полковника Шульговича, может быть, и я, и Веткин, и Лбов, и все поручики, и капитаны также сливаются в одно лицо, и мы ему также чужие, и он не отличает нас друг от друга?»

Загремела дверь, и в комнату вскочил Гайнан. Переминаясь с ноги на ногу и вздергивая плечами, точно приплясывая, он крикнул:

— Ваша благородия. Буфенчик больше на даваит папиросов. Говорит, поручик Скрябин не велел тебе в долг давать.

— Ах, черт! — вырвалось у Ромашова. — Ну, иди, иди себе… Как же я буду без папирос?.. Ну, все равно, можешь идти, Гайнан.

«О чем я сейчас думал? — спросил самого себя Ромашов, оставшись один. Он утерял нить мыслей и, по непривычке думать последовательно, не мог сразу найти ее. — О чем я сейчас думал? О чем-то важном и нужном… Постой: надо вернуться назад… Сижу под арестом… по улице ходят люди… в детстве мама привязывала… *Меня* привязывала… Да, да… У солдата тоже — Я… Полковник Шульгович… Вспомнил… Ну, теперь дальше, дальше…

Я сижу в комнате. Не заперт. Хочу и не смею выйти из нее. Отчего не смею? Сделал ли я какое-нибудь преступление? Воровство? Убийство? Нет; говоря с другим, посторонним мне человеком, я не держал ног вместе и что-то сказал. Может быть, я был должен держать ноги вместе? Почему? Неужели это — важно? Неужели это — главное в жизни? Вот пройдет еще двадцать — тридцать лет — одна секунда в том времени, которое было до меня и будет после меня. Одна секунда! Мое Я погаснет, точно лампа, у которой прикрутили фитиль. Но лампу зажгут снова, и снова, и снова, а Меня уже не будет. И не будет ни этой комнаты, ни неба, ни полка, ни всего войска, ни звезд, ни земного шара, ни моих рук и ног… Потому что не будет Меня…

Да, да… это так… Ну, хорошо… подожди… надо постепенно… ну, дальше… Меня не будет. Было темно, кто-то зажег мою жизнь и сейчас же потушил ее, и опять стало темно навсегда, на веки веков… Что же я делал в этот коротенький миг? Я держал руки по швам и каблуки вместе, тянул носок вниз при маршировке, кричал во все горло: „На плечо!“, — ругался и злился из-за приклада, „недовернутого на себя“, трепетал перед сотнями людей… Зачем? Эти призраки, которые умрут с моим Я, заставляли меня делать сотни ненужных мне и неприятных вещей и за это оскорбляли и унижали *Меня* . Меня!!! Почему же мое Я подчинялось призракам?»

Ромашов сел к столу, облокотился на него и сжал голову руками. Он с трудом удерживал эти необычные для него, разбегающиеся мысли.

«Гм… а ты позабыл? Отечество? Колыбель? Прах отцов? Алтари?.. А воинская честь и дисциплина? Кто будет защищать твою родину, если в нее вторгнутся иноземные враги?.. Да, но я умру, и не будет больше ни родины, ни врагов, ни чести. Они живут, пока живет мое сознание. Но исчезни родина, и честь, и мундир, и все великие слова, — мое Я останется неприкосновенным. Стало быть, все-таки мое Я важнее всех этих понятий о долге, о чести, о любви? Вот я служу… А вдруг мое Я скажет: не хочу! Нет — не мое Я, а больше… весь миллион Я, составляющих армию, нет — еще больше — все Я, населяющие земной шар, вдруг скажут: „Не хочу!“ И сейчас же война станет немыслимой, и уж никогда, никогда не будет этих „ряды вздвой!“ и „полуоборот направо!“ — потому что в них не будет надобности. Да, да, да! Это верно, это верно! — закричал внутри Ромашова какой-то торжествующий голос. — Вся эта военная доблесть, и дисциплина, и чинопочитание, и честь мундира, и вся военная наука, — все зиждется только на том, что человечество не хочет, или не умеет, или не смеет сказать „не хочу!“.

Что же такое все это хитро сложенное здание военного ремесла? Ничто. Пуф, здание, висящее на воздухе, основанное даже не на двух коротких словах „не хочу“, а только на том, что эти слова почему-то до сих пор не произнесены людьми. Мое Я никогда ведь не скажет „не хочу есть, не хочу дышать, не хочу видеть“. Но если ему предложат умереть, оно непременно, непременно скажет — „не хочу“. Что же такое тогда война с ее неизбежными смертями и все военное искусство, изучающее лучшие способы убивать? Мировая ошибка? Ослепление?

Нет, ты постой, подожди… Должно быть, я сам ошибаюсь. Не может быть, чтобы я не ошибался, потому что это „не хочу“ — так просто, так естественно, что должно было бы прийти в голову каждому. Ну, хорошо; ну, разберемся. Положим, завтра, положим, сию секунду эта мысль пришла в голову всем: русским, немцам, англичанам, японцам… И вот уже нет больше войны, нет офицеров и солдат, все разошлись по домам. Что же будет? Да, что будет тогда? Я знаю, Шульгович мне на это ответит: „Тогда придут к нам нежданно и отнимут у нас земли и дома, вытопчут пашни, уведут наших жен и сестер“. А бунтовщики? Социалисты? Революционеры?.. Да нет же, это неправда. Ведь все, все человечество сказало: не хочу кровопролития. Кто же тогда пойдет с оружием и с насилием? Никто. Что же случится? Или, может быть, тогда „все помирятся? Уступят друг другу? Поделятся? Простят? Господи, господи, что же будет?“»

Ромашов не заметил, занятый своими мыслями, как Гайнан тихо подошел к нему сзади и вдруг протянул через его плечо руку. Он вздрогнул и слегка вскрикнул от испуга:

— Что тебе надо, черт!..

Гайнан положил на стол коричневую бумажную пачку.

— Тебе! — сказал он фамильярно и ласково, и Ромашов почувствовал, что он дружески улыбается за его спиной. — Тебе папиросы. Куры!

Ромашов посмотрел на пачку. На ней было напечатано: папиросы «Трубач», цена 3 коп. 20 шт.

— Что это такое? Зачем? — спросил он с удивлением. — Откуда ты взял?

— Вижу, тебе папиросов нет. Купил за свой деньга. Куры, пожалюста, куры. Ничего. Дару тебе.

Гайнан сконфузился и стремглав выбежал из комнаты, оглушительно хлопнув дверью. Подпоручик закурил папиросу. В комнате запахло сургучом и жжеными перьями.

«О, милый! — подумал растроганный Ромашов. — Я на него сержусь, кричу, заставляю его по вечерам снимать с меня не только сапоги, но носки и брюки. А он вот купил мне папирос за свои жалкие, последние солдатские копейки. „Куры, пожалюста!“ За что же это?..»

Он опять встал и, заложив руки за спину, зашагал по комнате.

«Вот их сто человек в нашей роте. И каждый из них — человек с мыслями, с чувствами, со своим особенным характером, с житейским опытом, с личными привязанностями и антипатиями. Знаю ли я что-нибудь о них? Нет — ничего, кроме их физиономий. Вот они с правого фланга: Солтыс, Рябошапка, Веденеев, Егоров, Яшишин… Серые, однообразные лица. Что я сделал, чтобы прикоснуться душой к их душам, своим Я к ихнему Я? — Ничего».

Ромашову вдруг вспомнился один ненастный вечер поздней осени. Несколько офицеров, и вместе с ними Ромашов, сидели в собрании и пили водку, когда вбежал фельдфебель девятой роты Гуменюк и, запыхавшись, крикнул своему ротному командиру:

— Ваше высокоблагородие, молодых пригнали!..

Да, именно пригнали. Они стояли на полковом дворе, сбившись в кучу, под дождем, точно стадо испуганных и покорных животных, глядели недоверчиво, исподлобья. Но у всех у них были особые липа. Может быть, это так казалось от разнообразия одежд? «Этот вот, наверно, был слесарем, — думал тогда Ромашов, проходя мимо и вглядываясь в лица, — а этот, должно быть, весельчак и мастер играть на гармонии. Этот — грамотный, расторопный и жуликоватый, с быстрым складным говорком — не был ли он раньше в половых?» И видно было также, что их действительно пригнали, что еще несколько дней тому назад их с воем и причитаниями провожали бабы и дети и что они сами молодечествовали и крепились, чтобы не заплакать сквозь пьяный рекрутский угар… Но прошел год, и вот они стоят длинной, мертвой шеренгой — серые, обезличенные, деревянные — *солдаты* ! Они не хотели идти. *Их Я не хотело* . Господи, где же причины этого страшного недоразумения? Где начало этого узла? Или все это — то же самое, что известный опыт с петухом? Наклонят петуху голову к столу — он бьется. Но проведут ему мелом черту по носу и потом дальше по столу, и он уже думает, что его привязали, и сидит, не шелохнувшись, выпучив глаза, в каком-то сверхъестественном ужасе.

Ромашов дошел до кровати и повалился на нее.

«Что же мне остается делать в таком случае? — сурово, почти злобно спросил он самого себя. — Да, что мне делать? Уйти со службы? Но что ты знаешь? Что умеешь делать? Сначала пансион, потом кадетский корпус, военное училище, замкнутая офицерская жизнь… Знал ли ты борьбу? Нужду? Нет, ты жил на всем готовом, думая, как институтка, что французские булки растут на деревьях. Попробуй-ка, уйди. Тебя заклюют, ты сопьешься, ты упадешь на первом шагу к самостоятельной жизни. Постой. Кто из офицеров, о которых ты знаешь, ушел добровольно со службы? Да никто. Все они цепляются за свое офицерство, потому что ведь они больше никуда не годятся, ничего не знают. А если и уйдут, то ходят потом в засаленной фуражке с околышком: „Эйе ла бонте… благородный русский офицер… компрене ву…“ Ах, что же мне делать! Что же мне делать!..»

— Арестантик, арестантик! — зазвенел под окном ясный женский голос.

Ромашов вскочил с кровати и подбежал к окну. На дворе стояла Шурочка. Она, закрывая глаза с боков ладонями от света, близко прильнула смеющимся, свежим лицом к стеклу и говорила нараспев:

— Пода-айте бе-едному заключенненькому…

Ромашов взялся было за скобку, но вспомнил, что окно еще не выставлено. Тогда, охваченный внезапным порывом веселой решимости, он изо всех сил дернул к себе раму. Она подалась и с треском распахнулась, осыпав голову Ромашова кусками известки и сухой замазки. Прохладный воздух, наполненный нежным, тонким и радостным благоуханием белых цветов, потоком ворвался в комнату.

«Вот так! Вот так надо искать выхода!» — закричал в душе Ромашова смеющийся, ликующий голос.

— Ромочка! Сумасшедший! Что вы делаете?

Он взял ее протянутую через окно маленькую руку, крепко облитую коричневой перчаткой, и смело поцеловал ее сначала сверху, а потом снизу, в сгибе, в кругленькую дырочку над пуговицами. Он никогда не делал этого раньше, но она бессознательно, точно подчиняясь той волне восторженной отваги, которая так внезапно взмыла в нем, не противилась его поцелуям и только глядела на него со смущенным удивлением и улыбаясь.

— Александра Петровна! Как мне благодарить вас? Милая!

— Ромочка, да что это с вами? Чему вы обрадовались? — сказала она, смеясь, но все еще пристально и с любопытством вглядываясь в Ромашова. — У вас глаза блестят. Постойте, я вам калачик принесла, как арестованному. Сегодня у нас чудесные яблочные пирожки, сладкие… Степан, да несите же корзинку.

Он смотрел на нее сияющими, влюбленными глазами, не выпуская ее руки из своей, — она опять не сопротивлялась этому, — и говорил поспешно:

— Ах, если бы вы знали, о чем я думал нынче все утро… Если бы вы только знали! Но это потом…

— Да, потом… Вот идет мой супруг и повелитель… Пустите руку. Какой вы сегодня удивительный, Юрий Алексеевич. Даже похорошели.

К окну подошел Николаев. Он хмурился и не совсем любезно поздоровался с Ромашовым.

— Иди, Шурочка, иди, — торопил он жену. — Это же бог знает что такое. Вы, право, оба сумасшедшие. Дойдет до командира — что хорошего! Ведь он под арестом. Прощайте, Ромашов. Заходите.

— Заходите, Юрий Алексеевич, — повторила и Шурочка.

Она отошла от окна, но тотчас же вернулась и сказала быстрым шепотом:

— Слушайте, Ромочка: нет, правда, не забывайте нас. У меня единственный человек, с кем я, как с другом, — это вы. Слышите? Только не смейте делать на меня таких бараньих глаз. А то видеть вас не хочу. Пожалуйста, Ромочка, не воображайте о себе. Вы и не мужчина вовсе.